National Bestseller

"Stunning. . . . Wallace is an astounding storyteller whose fiction reminds us why we learned to read in the first place."
— *San Francisco Chronicle*

oblivion

stories

David Foster Wallace

author of *Infinite Jest*

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Рассказ из сборника: *Oblivion: Stories* (2004) by David Foster Wallace

- Дэвид Фостер Уоллес
  -
  -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
- comments
  - 1

Дэвид Фостер Уоллес
Старый добрый неон

Good Old Neon by David Foster Wallace (2004)
Оригинал: http://stanford.edu/~sdmiller/octo/files/GoodOldNeon.pdf

Всю жизнь я был фальшивкой. Я не преувеличиваю. Практически все, что я все время делал — пытался создать определенное впечатление о себе. В основном чтобы понравиться или чтобы мной восхищались. Может, все немного сложнее. Но если свести к сути — чтобы нравиться, быть любимым. Чтобы мной восхищались, одобряли, аплодировали, все равно. Ты уловил суть. Я хорошо учился в школе, но глубоко внутри я старался не ради учебы и не ради того, чтобы стать лучше, а просто хорошо учился, получал пятерки, занимался спортом и хорошо играл свою роль. Чтобы потом показать людям отличную академсправку или письменные рекомендации в университеты. Мне не нравилось в школе, потому что я всегда боялся, что буду недостаточно хорош. Из-за страха я старался еще сильней, так что всегда хорошо справлялся и получал что хотел. Но когда я получал лучшую отметку, попадал в городскую сборную или Анджела Мид разрешала дотронуться до груди, не чувствовал ничего, кроме, может быть, страха, что у меня не получится это повторить. Не получу опять то, что хочу. Помню, как сидел в гостиной в подвале дома Анджелы Мид на диване, и она разрешила засунуть руку под ее блузку, и я даже не чувствовал живую мягкость ее груди или что-нибудь там еще, потому что все, что было в голове — «Теперь я тот, кто добрался с Мид до второй базы». Потом это казалось так печально. Это было в средней школе. Она была очень добросердечной, тихой, скромной, задумчивой девочкой — теперь она ветеринар, у нее своя клиника — а я ее даже не видел, не мог разглядеть ничего, кроме того, кем был сам в ее глазах, в глазах чирлидерши и, вероятно, второй или третьей самой желанной девушки в школе того года. Она была куда выше всего этого, за гранью юношеских рейтингов и фигни с популярностью, но я никогда не давал ей быть или не видел ее выше, хотя и цеплял личину человека, который может поддержать глубокую беседу и действительно хочет узнать и понять, кто она такая на самом деле.

Позже я пробовал психоанализ, ходил к психоаналитику, как и практически все тридцатилетние, что неплохо зарабатывают

или обзавелись семьей или, словом, получили то, что думали, что хотели, но по-прежнему не чувствовали себя счастливыми. У меня многие знакомые ходили к психологу. На самом деле это не помогает, хотя все будто стали лучше понимать свои проблемы и обучились полезным терминам и концептам того, как нам всем приходится общаться друг с другом так, чтобы добиться определенного впечатления. Ну ты понял, о чем я. Я тогда работал в Чикаго, в региональной рекламе, вдруг перескочил из медиа байера в большую консалтинговую фирму и уже в двадцать девять стал арт-директором — поистине, что называется, «славный парень далеко пойдет» — но вовсе не был счастлив, что бы не значило «быть счастливым», хотя, конечно, никому не признавался, ведь это такое клише — «Слезы Клоуна», «Ричард Кори»[1] и т. д. — а круг людей, что казались мне важными, смотрел на клише сухо, косо и презрительно, так что, разумеется, я постоянно пытался показать, что я такой же сухой и потрепанный жизнью, и всячески зевал, смотрел на ногти и говорил нечто типа «Счастлив ли я? один из тех вопросов, в которых более-менее содержится и ответ», и т. д. Я вкладывал все время и энергию, чтобы создать впечатление и получить одобрение или признание, к которым позже ничего не чувствовал, так как они не имели никакого отношения к тому, чем я был внутри на самом деле, и я сам себе был отвратителен из-за своей фальши, но, казалось, ничего не мог поделать. Вот что я перепробовал: EST[2], поездка на десятискоростном велосипеде до Нова Скотии и обратно, гипноз, кокаин, хиропрактика, вступление в харизматическую церковь, джоггинг, волонтерская работа для Ad Council[3], классы медитации, масоны, психоанализ, Ландмарк Форум[4], Курс Miracles, мастерская по правополушарному рисованию, целибат, коллекционирование, реставрация винтажных Корветов и спать с разными девушками каждую ночь два месяца подряд (вымучил тридцать шесть из шестидесяти одной ночи и заработал хламидии, о чем рассказал друзьям, делая вид, будто мне стыдно, хотя втайне ожидая, что большинство впечатлится — чего, под слоем множества шуток в мой адрес, думаю, добился — но большую часть этих двух месяцев я просто чувствовал себя пустышкой и хищником, плюс очень мало спал и на работе просто разваливался — также это период, когда я пробовал кокаин). Кстати, я знаю, как все это скучно и наверняка тебе уже наскучило, но поверь, будет намного интереснее, когда я дойду до момента, где кончаю жизнь самоубийством и узнаю, что происходит сразу после смерти. Относительно списка — психоанализ был практически самым последним, что я попробовал.

Психоаналитик, к которому я ходил, был ничего, такой большой мягкий малый постарше меня, с большими рыжими усами и приятными, как бы неформальными, манерами. Не уверен, что хорошо запомнил его живым. Он был действительно хорошим слушателем и казался заинтересованным и сочувствующим, хоть и несколько отстраненным. Сперва казалось, будто я ему не нравлюсь или ему со мной неловко. Не думаю, что он привык к пациентам, которые и так уже осознавали, в чем их реальная проблема. Еще он частенько пытался подсадить меня на таблетки. Я наотрез отказался от антидепрессантов — просто не мог представить, как принимаю таблетки, чтобы меньше казаться себе фальшивкой. Я сказал, что даже если они сработают, как понять — это я или таблетки? К тому времени я уже знал, что я фальшивка. Знал, в чем моя проблема. Но, казалось, не мог ее решить. Помню, на психоанализе первые двадцать или около того сеансов я старался быть открытым и чистосердечным, но на самом деле отгораживался от него или водил за нос, чтобы, в сущности, показать, что я не очередной пациент, который понятия не имеет, в чем его проблема, или совершенно далек от правды о себе. Если свести к сути, я пытался показать, что, как минимум, был не глупее, и что вряд ли он найдет во мне что-то, чего я сам уже не увидел и не обдумал. И все же мне нужна была помощь, и пришел я к нему именно за помощью. Первые пять-шесть месяцев я даже не рассказывал, насколько несчастлив, в основном потому, что не хотел казаться очередным ноющим эгоцентричным яппи, хотя, думаю, на каком-то подсознательном уровне понимал, что глубоко внутри это именно я и есть.

Что мне понравилось в психоаналитике с самого начала — в его кабинете царил бардак. Повсюду валялись книжки и бумаги, и, чтобы я сел, ему обычно приходилось убирать что-нибудь с кресла, Дивана не было, я сидел в легком кресле, а он сидел ко мне лицом в потрепанном офисном, на спинке которого висел такой прямоугольник или накидка, с шариками для массажа спины, как часто бывает у таксистов в такси. Это мне тоже нравилось — и офисное кресло, и тот факт, что оно было ему мало (сам он был не маленьким), так что ему приходилось горбиться и твердо упираться ногами в пол, или иногда он закидывал руки за голову и откидывался на спинку так, что задняя часть ужасно скрипела. Кажется, есть что-то покровительствующее или немного снисходительное в том, когда во время разговора садятся, скрестив ноги, а офисное кресло так сесть не давало: даже если бы он попытался, колено бы почти уперлось ему в подбородок. И все же он, очевидно, так и не купил

себе кресло побольше или поудобнее, или не позаботился хотя бы смазать пружины среднего шарнира, чтобы спинка не скрипела — с таким звуком, который, уверен, будь это мое кресло, бесил бы меня так, что к концу дня я бы на стенку лез. Все это я заметил сразу же. Еще кабинет пропитался запахом табака для трубки, а это приятный запах, плюс доктор Густафсон никогда не делал заметок и не отвечал вопросами или всякими психоаналитическими клише, что сделало бы процесс слишком мучительным для повторения, несмотря на то, помогает он или нет. В целом он производил эффект приятного, неорганизованного парня, на которого можно положиться, и все пошло куда лучше, когда я осознал, что он, видимо, не собирается ничего делать с моими отгораживанием и попытками предугадать все вопросы, чтобы показать, что ответ мне уже известен — свои 65 долларов он все равно получит — и наконец раскрылся и рассказал ему о жизни фальшивки и о чувстве отчуждения (конечно, пришлось использовать это выспренное словечко, но это, тем не менее, было правдой) и понимании, что так я проживу всю жизнь, и как я совершенно несчастлив. Рассказал ему, что никого не виню в том, что я фальшивка. Я приемный ребенок, но усыновлен был младенцем, и мои приемные родители были лучше и приятней большинства известных мне биологических, никогда не кричали, не оскорбляли и не заставляли выбивать.400[5] в лиге Легиона[6] или еще что, и заложили дом второй раз, чтобы отправить меня в элитный колледж, хотя я мог пойти на бюджет в У.В. в О-Клэр[7], и т. д. Никто и никогда не делал мне ничего плохого, корнем всех своих бед был я сам. Я был фальшивкой, и факт моего одиночества — целиком моя вина (конечно, он навострил уши на слове «вина», это перегруженный термин), потому что я настолько эгоцентричен и фальшив, что переживал все в категориях того, как оно повлияет на точку зрения других обо мне и что мне нужно сделать, чтобы создать о себе такое впечатление, какое хочется. Я сказал, что знаю, в чем моя проблема, но чего я не мог, так это ее решить. Я также признался доктору Густафсону, что до этого момента в каком-то смысле дурил его и хотел убедиться, что он воспринимает меня как умного и самосознающего человека, и сказал, что мне раньше надо было понять, что развлекаться и показушничать в психоанализе — это трата времени и денег, но я не мог остановиться, все происходило автоматически. На все это он улыбнулся, и тогда я, насколько помню, впервые увидел его улыбку. Не хочу сказать, что он был угрюм или не имел чувства юмора, у него было большое красное дружелюбное лицо и достаточно обходительные манеры, но он

впервые улыбнулся как живой человек за настоящей беседой. Однако одновременно я тут же понял, где подставился — и, конечно, он этим воспользовался. «Если я правильно тебя понял, — сказал он, — ты считаешь, что ты, по сути, расчетливый, манипулирующий человек, который всегда говорит то, что, по-твоему, вызовет некое одобрение или сформирует нужное тебе, по-твоему, впечатление». Я ответил, что это, пожалуй, немного упрощенно, но в основном верно, и он далее сказал, что, как он понимает, я считаю, что я в ловушке этого фальшивого бытия и не способен быть до конца открытым и говорить правду вне зависимости от того, выставит это меня в хорошем свете или нет. Я как-то покорно сказал «да» и что, как мне кажется, эта фальшивая, расчетливая часть мозга работает все время, будто я постоянно играю со всеми в шахматы и просчитываю, что если я хочу, чтобы они пошли так, мне надо пойти этак, чтобы побудить их пойти так. Он спросил, играл ли я когда-нибудь в шахматы, и я ответил, что в средней школе играл, но забросил, потому что не мог достичь того успеха, какого, видимо, хотел, и как это фрустрирует — стать настолько хорошим игроком, чтобы понять, как сильно надо вкладываться, чтобы стать действительно хорошим, и при этом быть не в состоянии стать действительно хорошим, и т. д. Я выкладывал все это разом в надежде отвлечь его от большого прозрения и вопроса, для которого, как я осознал, я подставился. Но не сработало. Он откинулся в скрипучем кресле и для эффекта сделал паузу, как будто крепко задумался — он думал, что почувствует, что заслуженно заработал свои сегодняшние 65 долларов. В паузу всегда входило неосознанное поглаживание усов. Я был достаточно уверен, что он хочет сказать нечто вроде «Тогда как же вы смогли сделать то, что только что сделали?», другими словами, имея в виду, как я смог быть откровенным о своей фальшивости, если был такой фальшивкой, имея в виду, что он думал, что подловил меня на своеобразном логическом противоречии или парадоксе. А я пошел ему навстречу и, наверное, сыграл дурачка, чтобы он все это сказал, частично оттого, что еще хранил некую надежду, будто его слова окажутся более проницательными или острыми, чем я прогнозировал. Но еще частично оттого, что мне нравился он и как он кажется искренне довольным и восхищенным идеей быть полезным, но при этом старался удержать профессиональный контроль над выражением лица, чтобы его восторг казался скорее простым удовольствием и клиническим интересом к моему делу или чем-то типа того. Его было трудно не полюбить, он, что называется, располагал себе. В качестве украшения на стене позади его кресла висели два принта в

рамках, один Уайета — картина, где девочка ползет по пшеничному полю к ферме на холме, другой — пейзаж Сезанна с двумя яблоками в миске (если честно, я знал, что это Сезанн, только потому, что видел постер Института Искусств с картиной и информацией о Сезанне, с тем самым пейзажем, который, кстати, странным образом приводил в замешательство, потому что в перспективе или стиле было что-то не так, от чего стол казался скрюченным, а яблоки почти квадратными). Картины тут были, очевидно, для того, чтобы пациентам было на что посмотреть, потому что многие во время разговора любят оглядываться или рассматривать, что висит на стенах. Хотя лично мне было несложно большую часть времени смотреть на него. С ним, безусловно, можно было расслабиться. Но я понимал, что это свойство, однако, не то же самое, что иметь достаточную проницательность или интеллектуальную мощь, чтобы найти способ мне помочь.

Существует простой логический парадокс, я называю его «парадокс фальшивости», который я более-менее самостоятельно открыл на курсе математической логики в школе. Помню, то был большой курс для студентов, проходивший дважды в неделю в аудитории с профессором за кафедрой, а по пятницам в небольших дискуссионных группах, которые вел лаборант, чья жизнь, казалось, целиком и полностью была посвящена математической логике. (Плюс все, что надо было для пятерки — сидеть с методичкой, редактором которой был наш препод, и запоминать всякие типологии аргументов, нормальные формы и аксиомы первого порядка, то есть курс был таким же чистым и механическим, как сама логика, в смысле, если вложишь время и усилия — получишь в итоге хорошую оценку. До парадоксов вроде Парадоксов Рассела и Берри и теоремы о неполноте мы дошли только в самом конце семестра и их не было на экзаменах). Парадокс фальшивости заключается в том, что чем больше времени и усилий вкладываешь, чтобы казаться впечатляющим и привлекательным для других, тем менее впечатляющим и привлекательным ты себя чувствуешь — то есть ты фальшивка. И чем больше чувствуешь себя фальшивкой, тем сильнее пытаешься передать впечатляющий или приятный образ себя, чтобы другие не догадались, насколько ты на самом деле неглубок и фальшив. Логически можно представить, что как только предположительно умный девятнадцатилетний узнает об этом парадоксе, он перестанет быть фальшивкой и просто будет собой (что бы это ни значило), так как он выяснил, что быть фальшивкой означает жестокий бесконечный регресс, неизбежно ведущий к страху, одиночеству, отчуждению и т. д. Но тут есть

другой парадокс, более высокого порядка, у него нет даже формы или названия — я не остановился, не смог. Открытие первого парадокса в возрасте девятнадцати лет лишь проиллюстрировало мне в красках, каким я был пустым, фальшивым человеком еще с как минимум того случая в четыре года, когда я солгал отчиму, потому что как-то осознал во время его вопроса, не я ли разбил вазу, что если я скажу, что да, но «сознаюсь» несколько неуклюже, неубедительно, то он мне не поверит и решит, что на самом деле это моя сестра Ферн, биологическая дочь моих приемных родителей, разбила старинную вазу мозеровского стекла, которую мачеха получила по наследству от биологической бабушки и от которой была без ума, плюс это приведет его к тому или убедит в том, что я добрый, любящий сводный брат, который настолько боялся, что Ферн (которая мне действительно нравилась) попадет в неприятности, что был готов солгать и принять наказание за нее. Я непонятно объясняю. В конце концов, мне было всего четыре, и это осознание пришло ко мне не так, как я только что описал, но скорее в плане чувств и ассоциаций и определенных мысленных вспышек лиц приемных родителей с различным выражениями. Но это случилось так рано, всего лишь в четыре — то, что я выяснил, как создать определенное впечатление, зная, какой эффект произведу на отчима, неубедительно «сознавшись», будто это я ударил Ферн по руке и отнял ее хула-хуп и сбежал вниз по лестнице и начал крутить хула-хуп в столовой прямо рядом с сервантом, в котором были все мачехины старинные стеклянные сервизы и статуэтки, а Ферн, тем временем, позабыв о руке и хула-хупе, испугавшись за вазу и остальную посуду, сбежала по лестнице с криками, напоминая мне о важности правила никогда не играть в столовой… То есть намеренно солгав неубедительно, я могу получить все то же, что дала бы прямая ложь, плюс образ благородного и готового на самопожертвование сына, плюс порадую приемных родителей, потому что они всегда, как правило, радовались, если кто-то из их детей как-нибудь проявлял характер, потому что не могли не видеть, что это благоприятно отражается на их образе воспитателей характеров детей. Я потому описываю это все так долго, торопливо и неуклюже, чтобы передать, как я помню, как меня внезапно озарило, пока я смотрел на большое доброе лицо отца, державшего два самых крупных осколка мозеровской вазы, стараясь выглядеть сердитей, чем был на самом деле. (Он всегда думал, что самые ценные вещи следует хранить где-нибудь подальше в безопасном месте, тогда как мачеха скорее стояла на той точке зрения, что какой смысл иметь что-то дорогое, если не можешь поставить это там, где оно будет приносить людям

удовольствие). В голове тут же вспыхнуло, как выставить себя в определенном свете и заставить его прийти к определенному заключению. Помни, что мне было всего около четырех. И не буду врать, что чувствовал себя плохо — по правде сказать, чувствовал я себя отлично. Я чувствовал себя могучим и умным. Это примерно как смотреть на пазл, держа в руках детальку, и не видеть, куда в общей картине она должна подходить или куда ее вставить, осматривать все дырки, и внезапно вмиг увидеть, без всякой причины, которую можно было бы объяснить словами, что если определенным образом повернуть детальку, то она подойдет, и она подходит, и может, лучший способ объяснить мое прозрение — сравнить с этим крошечным мигом, когда вдруг чувствуешь, что ты связан с чем-то большим и куда более цельным, как деталька в пазле. Единственное, что я пренебрег предвидеть — реакция Ферн на обвинения за вазу, и наказание, и потом еще большее наказание, когда она продолжит отрицать, что играла в столовой, а приемные родители будут стоять на том, что их куда больше расстраивает и разочаровывает ложь, нежели ваза, которая, по их словам, лишь материальный объект и не так важна в общей картине мира (приемные родители так и говорили, они были приверженцами высоких идеалов и ценностей, гуманистами. Их главным идеалом была абсолютная честность в семейных отношениях, а ложь в их представлении как родителей была худшим, самым разочаровывающим нарушением, что можно совершить. Между прочим, как правило, они воспитывали Ферн чуть тверже, чем меня, но и это исходило из их ценностей. Для них была важна справедливость и мое ощущение, что я настолько же их родной ребенок, как и Ферн, так что я чувствовал максимальную опеку и любовь, но иногда чувство справедливости заставляло их немного перегибать, если дело доходило до дисциплины). Итак, Ферн теперь считали вруньей, хотя это было не так, и наверняка это обидело ее больше, чем само наказание. Ей тогда было всего пять. Ужасно, когда тебя считают фальшивкой, или когда ты уверен, что тебя считают фальшивкой или лжецом. Может, одно из самых худших ощущений в мире. И хотя я никогда не испытывал ничего такого прямо, уверен, что вдвойне ужасней, когда говоришь правду, а тебе не верят. Не думаю, что Ферн забыла этот случай, хоть потом мы никогда его не вспоминали, не считая одной скрытой ремарки, которую она однажды бросила через плечо, когда мы оба учились в средней школе и поспорили о чем-то и Ферн вылетела из дома, хлопнув дверью. Она была классическим проблемным подростком — курение, макияж, посредственные оценки, свидания с парнями постарше и т. д. — тогда как я был гордостью семьи и имел

убийственный средний балл и играл за университетскую команду и т. д. Другими словами, на поверхности я выглядел и вел себя намного лучше, чем Ферн, хотя, в конце концов, она угомонилась и поступила в колледж и теперь живет ОК. А еще она одна из самых веселых людей в мире, у нее очень сухое, тонкое чувство юмора — она мне очень нравится. Суть в том, что так я стал фальшивкой, хотя нельзя сказать, что случай с разбитой вазой послужил истоком моей фальши или стал какой-то детской травмой, которую я не смог пережить и которую надо излечить во время психоанализа. Фальшь всегда была во мне, так же, как детальку пазла, объективно говоря, можно считать истинной деталькой пазла даже до того, как найдешь, куда ее вставить. Какое-то время я думал, что, может, один из моих биологических родителей был фальшивкой, или оба несли какой-то ген фальши или что-то такое, и я все унаследовал — но ведь это тупик, наверняка никогда не узнать. А если бы и узнал, какая разница? Я все равно фальшивка, все равно я один на один с этим несчастьем.

Еще раз — я понимаю, что излагаю неуклюже, но суть в том, что все это и даже больше промелькнуло у меня в голове именно в момент маленькой, драматической паузы, которую позволил себе доктор Густафсон прежде, чем заявил свой апагогический аргумент[8], что я не могу быть полной фальшивкой, если только что сделал шаг и только что признал свою фальшивость. Я знаю, что ты знаешь не хуже меня, как быстро в голове проносятся мысли и ассоциации. Можно быть посреди творческой встречи на работе или еще где, и всего лишь в короткие паузы, пока все просматривают свои записи и ждут следующую презентацию, в голове пролетит столько материала, что всей этой встречи не хватит, чтобы переложить в слова секундные наводнения мыслей. Это еще один парадокс: большинство из множества важных впечатлений и мыслей в жизни человека — те, что мелькают в голове так быстро, что «быстро» даже не то слово, они так отличаются от последовательного времени, по которому мы живем, и имеют так мало отношения к линейному, слово-за-словом английскому, на котором мы друг с другом общаемся, что лишь сказать вслух содержание вспышки мыслей и ассоциаций и т. д. одной доли секунды легко займет целую жизнь — и все же мы по-прежнему пытаемся применять английский (или какой язык для нас родной, само собой разумеется), чтобы пытаться передать другим, что мы думаем, и узнать, что думают они, тогда как в глубине каждый знает, что это спектакль и они попросту тратят время. То, что происходит внутри, слишком быстро и огромно и запутанно, чтобы слова могли хотя бы едва обрисовать

очертания самой наименьшей частички любого данного мгновения. Кстати говоря, внутренняя головная скорость — или как это назвать — идей, воспоминаний, осознаний, эмоций и т. п. еще быстрей — экспоненциально быстрей, невообразимо быстрей — когда умираешь, то есть в эту исчезающее крошечную наносекунду между технической смертью и чем-то следующим за ней, так что на самом деле клише о том, будто у людей, когда они умирают, вся жизнь пролетает перед глазами, не так уж далеко от истины — хотя вся жизнь здесь не значит нечто последовательное, когда сперва родился, потом в колыбели, потом на базе в Легионской лиге и т. д., потому что, оказывается, когда люди говорят «вся моя жизнь», они имеют в виду дискретную, хронологическую последовательность моментов, которые они складывают и зовут продолжительностью жизни. На самом деле все не так. Лучшее, что мне приходит в голову для описания — все происходит сразу, но при этом «сразу» не означает некий конечный момент последовательного времени, как мы представляем время при жизни, плюс то, что на деле оказывается значением словосочетания «моя жизнь», даже не близко к тому, что мы имеем в виду, когда говорим «моя жизнь». Слова и хронологическое время уже на самом элементарном уровне создают путаницу в понимании того, что происходит в реальности. И все же при этом английский — все, что у нас есть для понимания и попыток формирования с кем-то другим чего-то большего и значительного и истинного, что является очередным парадоксом. Доктор Густафсон — которого я снова повстречал много позже и с удивлением обнаружил, что он больше не имеет ничего общего с большим рыхлым подавленным мужиком, откинувшимся на шарики спинки кресла в кабинете в Ривер Форест с уже таящимся в нем тогда раком толстой кишки, о котором он еще ничего не знает, не считая, что в последнее время, когда он в ванной комнате, там внизу ему нехорошо, и если все будет продолжаться такими темпами, то придется записаться на прием и спросить терапевта — доктор Джи позже скажет, что феномен промелькания всей жизни перед глазами перед смертью скорее как верхушка айсберга на поверхности океана — то есть только в тот момент, когда начинаешь оседать и сползать, осознаешь, что вокруг вообще есть океан. Когда ты снаружи в виде верхушки, можешь говорить и действовать так, будто понимаешь, что ты всего лишь верхушка айсберга, но глубоко внутри ты не веришь, что океан вообще есть. Почти невозможно поверить. Или как листок, который не верит в дерево, часть которого он, и т. д. Сравнить можно с чем угодно.

И, конечно, ты все это время наверняка обращал внимание на

то, что кажется неким центральным, всеобъемлющим парадоксом — то есть я постоянно повторяю, что слова не могут ничего передать и время не идет по прямой линии, но тебе, чтобы это понять, приходится слушать сперва первое слово, а потом каждое последующее в хронологическом порядке — так что если я утверждаю, что слова и последовательное время тут совершенно не при чем, ты спросишь, зачем мы вообще тогда сидим в этой машине, используем слова и отнимаем твое все более драгоценное время, то есть не противоречу ли я себе логически с самого начала. Не говоря уже о том, что я, вполне может быть, несу бред сивой кобылы — если я действительно себя убил, как ты вообще можешь это слышать? То есть — я фальшивка. Но это ничего, неважно, что ты думаешь. В смысле, может, тебе и важно, или ты думаешь, что важно, — но я не это имею в виду под «неважно, что ты думаешь». Я имею в виду, неважно, что ты думаешь обо мне, потому что, несмотря на видимость, история на самом деле не обо мне. Я лишь пытаюсь набросать небольшую частичку секунды перед моей смертью и, как минимум, почему я умер, так что, как минимум, у тебя будет представление о том, почему то, что случится потом, случилось, и почему это повлияло на того, о ком вся эта история на самом деле. То есть все это такое абстрактное или какое-то такое вступление, задуманное как очень короткое и схематическое… но, конечно, сам видишь, сколько времени и английского нужно, чтобы сказать хотя бы это. Если задуматься, интересно, как неуклюже и трудоемко передать хотя бы малейший пустяк. Сколько вообще, по-твоему, времени уже прошло?

Одна из причин, почему доктору Густафсону ни в коем случае не стоило играть в покер — когда бы он не задумывался во время сеанса, он всегда откидывался в офисном кресле так, что оно громко скрипело, а ноги выпрямлялись и вставали на каблуках, хотя он и умел притвориться, что так ему удобно и привычно для тела, будто так ему больше нравится думать. Весь этот процесс одновременно выглядел и немного наигранным, и все же почему-то располагающим. У Ферн, кстати, отдающие рыжим волосы и слегка ассиметричные зеленые глаза — ради такого зеленого покупают цветные линзы — и какая-то ведьмовская привлекательность. Но, по-моему, она все-таки привлекательна. Она стала очень уравновешенной, остроумной, самостоятельной женщиной, с, может быть, лишь легким оттенком аромата одиночества, который есть у всех незамужних женщин тридцати лет. Но, разумеется, мы все одиноки. Это все знают, это почти что клише. Так что еще один слой моей сущностной фальшивости в том, что я лгал себе, будто мое

одиночество особенное, что это исключительно моя вина, потому что я как-то особенно фальшив и неглубок. Но тут нет ничего особенного, ведь все такие же. В точности. Мертвый или нет, доктор Густафсон знал об этом куда больше меня, так что он сказал с каким-то внезапно неподдельным авторитетом и удовольствием (пожалуй, даже надменно, учитывая очевидность заявления): «Но если ты целиком фальшивый, манипулятивный и неспособный честно говорить о том, кто ты на самом деле, Нил, — (Нил — так меня зовут, это имя было на свидетельстве о рождении, когда меня усыновили), — то как же ты смог только что отбросить пикировки и манипуляции и быть со мной честным секунду назад, — (а прошла всего лишь секунда, несмотря на весь английский, потраченный на частичное описание содержания моей головы между тогда и сейчас), — о том, кто ты на самом деле?» Итак, оказалось, я совершенно верно предугадал, каким будет его логическое прозрение. И хотя я уже какое-то время его дурачил, так что для меня это не стало откровением, внутри я чувствовал себя очень уныло, ведь теперь я точно знал, что он будет таким же легко поддающимся влиянию и доверчивым, как все остальные, и у него даже близко нет необходимой мне огневой мощи, чтобы подарить надежду выбраться из ловушки фальши и несчастья, которую я сам для себя сконструировал. Потому что на самом деле, в действительности, мое признание в том, что я фальшивка и что я тратил время предыдущих недель на пикировки, чтобы манипуляциями добиться образа исключительного и проницательного человека, само по себе было манипулятивным. Было довольно очевидно, что доктор Густафсон, дабы выжить в своем бизнесе, не мог быть совершенно тупым или зашоренным относительно других людей, так что казалось разумным предположить, что он заметит мое постоянное отгораживание в первые недели психоанализа и, таким образом, придет к каким-то заключениям о моем, видимо, отчаянном желании произвести на него определенное впечатление, и, хотя нельзя быть до конца уверенным, таким образом существовала большая вероятность, что он сочтет меня пустым, неуверенным в себе человеком, всю жизнь пытающимся впечатлить других и манипулировать их представлением о себе, чтобы компенсировать внутреннюю пустоту. Ведь, в конце концов, не сказать, что это невероятно редкий или неизвестный тип личности. Так что то, что я предпочел быть якобы «честным» и диагностировать себя же, на самом деле было очередным шагом в моей кампании по убеждению доктора Густафсона в том, что я, как пациент, уникально проницательный и самоосознающий, и невелики шансы, что он увидит или диагностирует во мне что-

либо, о чем я сам бы уже не знал и не обратил бы в собственное тактическое преимущество в смысле создания какого-либо образа или впечатления о себе, которое я хотел для него создать. И значит, его большое предположительно прозрение — главный мнимый тезис которого заключался в том, что моя фальшивость не так радикальна и безнадежна, как я заявляю, раз моя способность быть с ним честным в этом логически противоречила заявлению о неспособности быть честным — на самом деле несло в себе больший, невысказанный тезис, будто он мог разглядеть в моем характере нечто, чего я сам не видел или неправильно интерпретировал, и таким образом в состоянии помочь мне выйти из ловушки, указав на несоответствия моего представления о себе как о полной фальшивке. Но тот факт, что его прозрение, которому он так радовался и наслаждался про себя, было не только очевидным и поверхностным, но и неверным — он удручал, как всегда удручает, когда понимаешь, что можешь кем-либо легко манипулировать. Естественное следствие из парадокса фальшивости в том, что ты одновременно хочешь и одурачить всех на своем пути, и в то же время постоянно надеешься, что встретишь кого-то, кто будет тебе в этом равен и кого нельзя одурачить. Но ведь психоанализ был чем-то вроде последней соломинки — я уже упоминал, что перепробовал множество различных занятий, которые не помогли. Так что на самом деле «удручал» — это грубое преуменьшение. Плюс, конечно, очевидный факт, что я платил за помощь в спасении из ловушки, а он сейчас показал, что ему не хватает интеллектуальной огневой мощи. Так что теперь я прикидывал перспективу траты времени и денег на поездки дважды в неделю в Ривер Форест, только чтобы поводить психоаналитика за нос так, что он не поймет и подумает, что я действительно не такая фальшивка, как сам считаю, и что его психоанализ постепенно помогает мне это увидеть. То есть, вероятно, он в итоге получит больше, чем я, а для меня это будет очередная фальшь.

Однако как бы это ни было утомительно и схематично, ты, по-моему, как минимум уловил, что творится у меня голове. Ты четко видишь, что быть таким, как я, утомительно и солипсично. А я так всю жизнь прожил, как минимум, насколько могу вспомнить, с четырех лет и далее. Разумеется, как видишь, это также очень глупый и эгоистичный образ жизни. Вот почему наиглавнейший, глубокий и невысказанный тезис прозрения психоаналитика — а именно: то, кем и чем я себя считал, на самом деле вовсе не было мной — который я полагал неверным, на самом деле был верным, хотя и не по тем причинам, из-за которых доктор Густафсон, откинувшийся в кресле и

приглаживающий пышные усы большим указательным пальцем, пока я прикидывался дурачком и позволял ему думать, что он объясняет мне противоречие, которое я сам не понимал, был в этом уверен.

Еще одним способом прикидываться дурачком на следующих сеансах было протестовать против его оптимистичного диагноза (даже некстати, так как все равно с того времени я махнул рукой на доктора Густафсона и начал обдумывать различные способы убить себя безболезненно и чисто, чтобы не отвратить того, кто меня найдет), перечисляя разные проявления моей фальши ради достижения истинной и непросчитанной целостности. Избавлю тебя от повторения всего списка. Я просто дошел в рассказах до детства (что так любят психоаналитики) и выложил все. Отчасти мне было любопытно, что он с этим сделает. Например, я рассказал, как уходил с по-настоящему чудесного бала, наслаждаясь запахом травы и далеких разбрызгивателей, или об ощущении ударов кулаком по ладони и криков «Эй, бэттербэттер», и низком распухшем красном солнце в начале игры против дуговых ламп, которые с лязгом включались в мерцающих сумерках последних иннингов, и о паре и чистом горелом запахе при глажке Легионской формы, или чувстве скольжения во время подката к базе и картине, как поднятая пыль оседает вокруг, или как родители в шортах и резиновых шлепках ставили у корта раскладные кресла и стирофомовые холодильники, как маленькие дети цеплялись пальцами за проволочную сетку вокруг поля или бегали за фолами. О запахе крема после бритья и пота тренера, небольшом венике, с которым он наклонялся и обмахивал плитки баз. В основном о чувстве, когда наступаешь на плитку и знаешь, что все возможно, чувстве, как будто высоко в моей груди сияет солнце. И о том, как только примерно к четырнадцати все это исчезло, но зато появилась тревога из-за оценок, и получится ли опять попасть в городскую сборную, или, например, я даже так тревожился, что все запорю, что мне даже перестало нравиться гладить форму перед играми, потому что это давало время на размышления, и я стоял настолько накрученный, что в тот вечер должен отлично сыграть, что даже больше не замечал тихих хихикающих вздохов утюга или особого запаха пара, когда нажимаешь кнопочку для подачи пара. Как я вот таким образом испортил все лучшие моменты. Как иногда мне казалось, что я сплю, и все это нереально, и однажды ни с того ни с сего я вдруг проснусь на середине шага. Частично из-за этого я, например, вступил в харизматическую церковь в Нейпервилле — чтобы духовно пробудиться, а не жить в тумане фальши. «Истина освободит вас» — Библия. Беверли-Элизабет

Слейн любила это звать фазой чокнутого фанатика. И кажется, харизматическая церковь действительно помогла многим прихожанам и верующим, которых я встречал. Они были скромны, преданны и щедры, без устали отдавались служению церкви, даже не думая о награде, и жертвовали время и ресурсы на церковную кампанию по постройке нового алтаря с гигантским крестом из толстого стекла, поперечная балка которого светилась и была наполнена газированной водой, в которой плавали разные виды красивейших рыб. (Рыба — известный символ Христа среди харизматиков. Более того, многие из нас, самые преданные и активные, даже клеили на бамперы машин стикеры без слов и без всего, только с простыми линиями, очерчивающими контур рыбы — это отсутствие хвастовства показалось мне искренним и солидным). Но если честно, я очень быстро перестал быть тем, кто пришел, чтобы пробудиться и перестать быть фальшивкой, и стал тем, кто так жаждал впечатлить паству своей преданностью и активностью, что даже добровольно взял на себя сбор средств и ни разу не пропустил ни одного собрания, и участвовал в двух разных комитетах по координации сбора средств на новый аквариумный алтарь и решал, какие именно оборудование и рыбы нужны для поперечной балки. Плюс часто был тем, кто сидит в переднем ряду и чей голос в ответах был самым громким и кто наиболее вдохновенно размахивал обеими руками, чтобы показать, что в меня вошел Дух, и говорил на непонятных языках — в основном состоящих из «д» и «г» — не считая только того, что конечно же нет, не вошел, потому что на самом деле я только притворялся, что говорю на непонятных языках, потому что все другие прихожане вокруг говорили на непонятных языках и в них входил Дух, так что в припадке восторга я мог даже провести себя и заставить думать, что внутри меня правда пребывал Дух и что я говорил на непонятных языках, тогда как в реальности я просто выкрикивал снова и снова «Дагга мага ургл дургл». (Другими словами, так жаждал увидеть себя истинно перерожденным, что даже убедил себя, будто этот лепет был настоящим языком, каким-то образом не таким ошибочным, как английский, в выражении чувства Святого Духа, проносившегося сквозь меня джаггернаутом). Это длилось около четырех месяцев. Не говоря уже, как я падал на спину, когда пастор Стив проходил вдоль ряда и толкал прихожан, и в том числе меня, ладонью в лоб, но падал специально, а не будучи пораженным Духом, как люди вокруг (один из которых по правде потерял сознание и его приводили в чувства солями). Только когда однажды вечером после вечерни в среду я вышел на парковку, я внезапно пережил вспышку самосознания или ясности или как это назвать, внезапно

перестал обманывать себя и понял, что все эти месяцы в церкви я тоже был фальшивкой, и был единственным, кто говорит и делает все лишь потому, что так же делают настоящие прихожане, и мне хотелось, чтобы все поверили в мою искренность. Меня это просто ошеломило, так живо я увидел, как обманывал себя. Открывшаяся правда была в том, что в церкви я стал еще большей фальшивкой, когда притворялся заново переродившимся естественным человеком, чем когда дьякон и миссис Халберштадт на своей миссионерской миссии впервые вдруг позвонили мне в дверь и уговорили попробовать. Потому что, по крайней мере, до церкви я себя не дурил — я знал, что был фальшивкой как минимум с девятнадцати лет, но хотя бы мог признать и встретиться с фальшью лицом к лицу, не обманывая себя, что был чем-то, чем я не был.

Все это было представлено в контексте очень долгой псевдодискусии о фальши с доктором Густафсоном, и передать ее в деталях заняло бы слишком много времени, так что я просто привожу некоторые самые яркие примеры. У нас с доктором Джи это вышло скорее в форме затянувшегося многосеансового качания туда-сюда в плане был я или не был полной фальшивкой, во время чего я все больше и больше ненавидел себя за то, что вообще подыгрываю. К этому времени психоаналиа я практически уверился, что он был идиотом, ну или по крайней мере весьма ограниченным в возможностях увидеть, что на самом деле происходит в людях. (Также ребром стояла вопиющая проблема его усов и постоянного поигрывания с ними). По существу он видел то, что хотел увидеть, а это такой тип человека, который я могу практически съесть на ланч в плане создания любых образов и представлений о себе, каких захочется. Например, я рассказал ему о периоде джоггинга, во время которого потерпел поражение перед импульсом ускорить шаг и более энергично двигать руками каждый раз, когда кто-то проезжал мимо или смотрел со двора, так что все закончилось костными шпорами и, в конце концов, пришлось опять-таки сдаться. Или потратил минимум два или три сеанса на воспоминания о примере с вводными курсами медитации в Общественном Центре Даунерс Гроув, куда меня уговорила пойти Мелисса Беттс из Сеттлмена, округ Дорн, на которых с помощью чистой силы воли я заставлял себя оставаться полностью недвижным в позе со скрещенными ногами и идеально прямой спиной еще долго после того, как другие ученики сдавались и падали на маты в судорогах и хватаясь за головы. Прямо с первой же встречи, несмотря на то, что маленький коричневый инструктор дал нам для начала только десять минут покоя, потому что разум у большинства людей с запада не может

выдержать больше пары минут покоя и концентрации, не почувствовав себя настолько неприкаянными и не в своей тарелке, что они в панике сдаются, я оставался абсолютно недвижен и сфокусирован на вдыхании праны, опуская диафрагму, дольше всех, иногда даже полчаса, хотя мои колени и нижняя часть спины просто горели, и казалось, что по рукам ползают и из затылка вылетают рои насекомых — и мастер Гурприт, хотя и сохранял загадочное выражение лица, глубоко и с заметным уважением поклонился мне и сказал, что я сидел почти как живая статуя разума в покое, и что он впечатлен. Проблема была в том, что мы должны были продолжать медитацию и сами по себе дома, вне занятий, и когда я пробовал один, не мог просидеть и следить за дыханием больше пары минут, как чувствовал, что готов просто из кожи вон вылезти, и в итоге прекращал. Я только тогда мог сидеть и казаться тихим и сконцентрированным и выдерживать невероятно беспокойные и ужасные ощущения, когда мы все этим этим занимались — то есть только тогда, когда мог произвести впечатление на других. И даже на занятии, по правде, я часто концентрировался не столько на том, чтобы следить за праной, сколько на том, чтобы оставаться недвижным и в правильной позе и сохранять на лице глубоко умиротворенное и медитативное выражение на случай, если кто-то будет жульничать, откроет глаза и оглядится, плюс чтобы убедиться, что мастер Гурприт будет и дальше считать меня исключительным и называть тем, что уже стало моим прозвищем на занятиях, а именно «статуя».

Наконец, на нескольких последних встречах, когда мастер Гурприт велел нам сидеть в покое и сфокусированными столько, сколько мы сами хотим, и потом ждал почти час, пока наконец не бил в маленький колокольчик серебряной штучкой, чтобы обозначить конец периода медитации, только я и невероятно тощая, бледная девушка с собственной скамейкой для медитации, которую она приносила с собой на занятия, могли просидеть недвижно и сфокусированными весь час, хотя несколько раз у меня так все сводило от судорог и беспокойства, словно яркое синее пламя взбиралось по спине и невидимо выстреливало из затылка, пока за веками вновь и вновь взрывались пузыри цвета, что мне казалось, что я заору, вскочу и выпрыгну головой в окно. И в конце курса, когда была возможность записаться на следующие занятия, которые назывались «Углубление практики», мастер Гурприт подарил нескольким из нас разные почетные сертификаты, и на моем было имя, дата и черной каллиграфией подписано ЧЕМПИОН-МЕДИТАТОР, САМЫЙ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ЗАПАДНЫЙ УЧЕНИК, СТАТУЯ. Только когда я наконец уснул той

ночью (я наконец пришел к компромиссу и убедил себя, что занимаюсь медитацией дома по ночам, когда ложусь и фокусируюсь на дыхании, пока не усну, и оказалось, что это просто феноменальное средство от бессонницы), только когда уснул, я увидел сон о статуе в городском парке и осознал, что мастер Гурприт, судя по всему, все это время видел меня насквозь, и что сертификат на самом деле был тонким упреком или шуткой в мой адрес. То есть он давал мне знать, что знал, что я фальшивка и даже близко не смог успокоить непрерывное коварство своего разума, ищущее, как бы впечатлить других, чтобы достичь покоя и соблюдать истинную внутреннюю сущность. (Конечно, чего он не прозрел — так это что в реальности у меня, похоже, не было истинной внутренней сущности, и чем сильнее я старался быть искренним, тем более пустым и фальшивым в итоге себя чувствовал, о чем никому не рассказывал до попытки психоанализа с доктором Густафсоном). Во сне я был в городском парке в Авроре, рядом с памятником танку Першинг у башни с часами, и во сне я вырезал огромнейшую мраморную или гранитную статую себя с помощью большого железного долота и кувалды размером с те, что дают на карнавалах, чтобы после удара по здоровой термометрообразной штуковине зазвенел звонок, и когда статуя наконец закончена, я ставлю ее на большую эстраду или помост и трачу все свое время, чтобы полировать, отгонять птиц от сидения или деланья своих дел на ней, убирать мусор и вычесывать траву вокруг эстрады. И во сне передо мной так проносится вся жизнь, солнце и луна снова и снова мотаются по небу туда-сюда, как дворники на автомобиле, и я никогда не сплю и не ем и не принимаю душ (сон проходил во времени сна, в противоположность времени пробуждения, то есть хронологическому), то есть я обречен всю жизнь быть не кем иным, как хранителем статуи. Не сказать, что это слишком тонко или сложно для расшифровки. Все, от Ферн, мастера Гурприта, анорексичной девушки с собственной скамеечкой и Джинджер Мэнли до парней из фирмы и некоторых представителей СМИ, у которых мы покупали эфирное время (я тогда еще работал медиа байером), проходили мимо, кое-кто по нескольку раз — а в один момент Мелисса Беттс и ее новый жених даже расстелили плед и устроили как бы небольшой пикник в тени статуи — но никто из них на меня даже не взглянул и слова не сказал. Очевидно, это был очередной сон о фальшивости, как тот, где я предположительно известная поп-звезда на сцене, но все, что я делаю — пою под фонограмму старых пластинок Mamas and Papas моих приемных родителей, которые проигрывает патефон у сцены, и кто-то, на чьем лице я

никак не могу сосредоточиться, чтобы разобрать, постоянно подносит руку к пластинке, будто хочет ее промотать или поцарапать, и от этого сна у меня мурашки по телу. Эти сны очевидны, предупреждения от моего подсознания, что я неглубокий и фальшивый, и только вопрос времени, когда моему спектаклю придет конец. Еще одной драгоценной реликвией мачехи были серебряные карманные часы ее дедушки по материнской линии с латинским RESPICE FINEM, выгравированным на внутренней стороне крышки. Только когда она умерла и отчим сказал, что она хотела оставить их мне, я позаботился посмотреть перевод, после чего у меня снова побежали мурашки по телу, как в случае с сертификатом мастера Гурприта[9]. Большая часть кошмарности сна о статуе была связана с тем, как солнце гонялось туда-сюда по небу, и скорости, с которой я пускал на ветер собственную жизнь там, в городском парке. Также очевидно, что подсознание просветляло меня относительно того, кем меня все это время видел инструктор по медитации, от чего мне было слишком стыдно даже пойти забрать плату за класс «Углубления практики», где больше ноги моей не будет, хоть я и одновременно с этим представлял, как мастер Гурприт станет моим ментором или гуру и при помощи всевозможных мистических восточных техник покажет, как домедитировать до истинного Я…

…И т. д., и т. д. Избавлю тебя от новых примеров, например, избавлю от буквально бесчисленных примеров фальши с девушками — с леди, как они любят себя называть — в почти что всех любовных отношениях, которые у меня были, или почти невероятного количества фальши и расчета, вложенных в карьеру — не просто в смысле манипуляции потребителем и манипуляции клиентом, чтобы он поверил, будто идеи твоего агентства лучшие по манипуляции потребителем, но и в самой внутриофисной политике, например, предугадывания, во что твои начальники хотят верить (включая их веру в то, что они умнее тебя и что поэтому они твои начальники), и затем предоставлении, чего они хотят, но при этом так тонко и в той мере, что они посчитают тебя не подхалимом или подпевалой (кого, как они верят, им не хочется видеть в подчинении), но реалистичным и независимым работником, который время от времени отдает должное интеллекту и творческой мощи его начальников, и т. д. Все агентство было одним сплошным балетом фальши и манипуляции представления людей о твоей способности манипулировать представлениями, виртуальный зал зеркал. И я был в этом хорош, помни, я там процветал.

То, сколько раз доктор Густафсон трогал и поглаживал усы,

указывало, что он не осознавал этого и на самом деле подсознательно успокаивал себя, что они еще на месте. Не самая тонкая привычка, говорящая о неуверенности в себе, ведь волосы на лице известны как вторичные половые признаки, то есть на самом деле он подсознательно успокаивал, что еще на месте именно они, если ты меня понимаешь. Вот одна из причин, почему я не удивился, когда он захотел, чтобы общее направление психоанализа включало проблемы маскулинности и то, как я понимаю свою маскулинность (другими слова мое «мужество»). Также это объясняло все от картин потерянной-ползущей-женщины и два-объекта-в-виде-кажется-деформированных-тестикул на стене до небольшого африканского или индийского барабана и фигурок с (иногда) преувеличенными сексуальными признаками на полке за его столом, плюс трубка, необязательный размер обручального кольца, какой-то даже нарочитый мальчишеский беспорядок в самом кабинете. Было довольно очевидно, что тут имели место крупные сексуальные комплексы и, возможно, даже неопределенности гомосексуального типа, которые доктор Густафсон подсознательно пытался спрятать и успокоить себя на их счет, и одним из очевидных способов было проецировать свои комплексы на пациентов и заставлять их верить, что американская культура уникально грубо и отчуждающе с раннего возраста промывает мужчинам мозги всевозможными вредными убеждениями и суевериями о том, что значит быть так называемым «настоящим мужчиной», такими как «соревновательность, а не сотрудничество», победа любой ценой, доминирование над чужими волей или интеллектом, быть сильным, не показывать настоящие эмоции, полагаться на мнение других насчет мужественности, чтобы убедить себя в ней, видеть собственную ценность лишь с точки зрения достижений, быть одержимым карьерой или доходом, чувствовать, будто тебя постоянно судят или видят, и т. д. Этот момент в психоанализе наступил поздно, после, кажется, бесконечного периода, когда после каждого примера моей фальши он бурно поздравлял меня с тем, что я честно открыл то, что считал постыдными примерами фальши, и утверждал, что это доказывает, будто у меня куда больше способностей быть подлинным, чем я (оказывается, из-за неуверенности в себе или мужских страхов) сам предполагал. Плюс даже не кажется совпадением, что рак, который уже тогда в нем затаился, находился в толстой кишке — таком постыдном, грязном, тайном месте рядом с прямой кишкой — в том плане, что прямая или толстая кишки дают тайный приют чужеродному приросту — вопиющий символ одновременно и

гомосексуальности, и репрессивного убеждения, что открытое знание об этом равно болезни и смерти. Можешь поверить, мы с доктором Густафсоном еще посмеемся над этим, когда оба умрем и окажемся вне линейного времени и в процессе драматических перемен. («Вне времени» — кстати говоря, не просто фигура речи). К этому времени я играл с ним на сеансах, как кошка с мышкой. Если бы у меня был хоть грамм самоуважения, я бы прекратил, отправился в Общественный центр Даунерс Гроув и упал бы на колени перед мастером Гурпритом, ведь кроме, может, одной-двух девушек, с которыми я встречался, он единственный, кто смог разглядеть во мне ядро моей фальшивости, плюс его окольный и очень сухой способ указать на это пересилил мое безразличие к тому, видел он меня насквозь или нет, что я нашел невероятно впечатляющим и подлинным — в мастере Гурприте я видел человека, которому, как говорится, нечего доказывать. Но я не смог, и вместо того я более-менее обманул себя и ходил к доктору Джи дважды в неделю почти девять месяцев (ближе к концу я приходил уже только раз в неделю, потому что к этому времени рак уже диагностировали и он ходил на лучевую терапию каждый вторник и четверг), и говорил себе, что хотя бы пытаюсь найти место, где мне помогут обрести путь к подлинности и прекратить манипуляции окружающими, чтобы те видели мою «статую» возвышенной и впечатляющей, и т. д.

Также, однако, необязательно истинно, что аналитику совсем нечего было сказать или что он не предоставлял иногда полезные модели или точки зрения на основную проблему. Например, оказалось, что одна из его основных рабочих предпосылок — что для человека существуют только два основных, фундаментальных ориентира, (1) любовь и (2) страх, и они не могут сосуществовать (или, в логических категориях, их области были исчерпывающи и взаимоисключающи, или что их массивы не пересекаются, но их союз содержал все возможные элементы, или что:

‘(∀x) ((Fx → ~ (Lx)) & (Lx → ~ (Fx))) & ~ ((∃x) (~ (Fx) & ~ (Lx))’),

то есть, другими словами, что каждый день своей жизни мы тратим на службу тому или иному из этих хозяев, и «Нельзя служить двум господам» — снова Библия — и что одна из худших проблем концепции соревновательной, ориентированной на достижения маскулинности, которую Америка якобы прошивает в мужчинах, в том, что так вызывалось более-менее константное состояние страха, а любовь, в свою очередь, стремилась к нулю. В смысле то, что заменяло у американских мужчин любовь, обычно было лишь нуждой в определенном отношении, то есть современные мужчины так постоянно боятся «не подходить

принятой мерке» (слова доктора Джи, с очевидно незапланированным каламбуром), что им приходится тратить все свое время на «валидность» маскулинности (что так же оказывается практически термином из формальной логики), дабы снизить собственную неуверенность, от чего искренняя любовь стремится к нулю. Хотя казалось немного упрощенным видеть такой страх исключительно как мужскую проблему (посмотрите как-нибудь на девушку на весах), выяснилось, что доктор Густафсон со своей концепцией двух господ был недалек от истины — хотя и не в том смысле, как он, еще живой и запутавшийся в проблеме собственной истинной личности, считал — и даже когда я подыгрывал, притворяясь, что оспариваю или не вполне понимаю, к чему он ведет, благодаря этой идее меня вдруг озарило, что, возможно, корнем моей проблемы была не фальшивость, но лежащая в самой основе неспособность по-настоящему любить, даже искренне любить приемных родителей, или Ферн, или Мелиссу Беттс, или Джинджер Мэнли из школы Аврора Вест из 1979, о которой я часто думал как о единственной девушке, которую я истинно любил, хотя идея-фикс доктора Джи о том, что промывка мозгов мужчин в итоге приравнивала любовь к достижению или завоеванию, тут тоже играла свою роль. Простая истина заключалась в том, что Джинджер Мэнли была первой девушкой, с которой я впервые прошел весь путь до конца, и большинство моих нежных чувств на самом деле были лишь ностальгией по ощущению необъятной космической проверки, которое я ощутил, когда она наконец позволила снять ее джинсы и поместить мое так называемое «мужское достоинство» в нее, и т. д. Нет же большего клише, чем потерять девственность и позже обрести рестроспективную нежность к участвовавшей в этом девушке. Или что сказала Беверли-Элизабет Слейн, научный сотрудник, с которой я иногда встречался после работы еще в бытность медиа байером и с которой до самого конца у меня был неразрешимый конфликт, о чем я, кажется, никогда не рассказывал доктору Джи из-за своей фальшивости, вероятно потому, что она попала почти что в яблочко. До самого разрыва она сравнивала меня с каким-то ультра-дорогим новейшим медицинским или диагностическим прибором, который может за один быстрый скан распознать в тебе больше, чем ты сам когда-либо о себе знал — но прибору ты неинтересен, для него ты лишь последовательность процессов и кодов. Что бы машина в тебе не нашла, это для нее ничего не значит. Даже если этот прибор действительно хорош. У Беверли был жуткий характер и серьезная огневая мощь, такую не захочется иметь во врагах. Она сказала, что никогда не чувствовала взгляда более проникающего,

анализирующего, и в то же время совершенно безразличного, будто она была пазлом или проблемой, которую я решал. Она сказала, что благодаря мне она вживую почувствовала разницу между проникнуть и познать versus проникнуть и просто изнасиловать — незачем говорить, благодарность та была саркастической. Кое-что из этих слов было обусловлено ее натурой — она считала, что нельзя закончить отношения и не сжечь при этом все мосты и высказать все накипевшее, причем так разрушительно, чтобы не осталось ни малейшей возможности снова сблизиться для ее преследования или чтобы не дать ей двигаться дальше. Но тем не менее ее слова запали мне в память, я так и не забыл, что она написала в том письме.

Даже если быть фальшивкой и быть неспособным к любви значит одно и то же (возможность, которую доктор Густафсон, кажется, никогда не допускал, как бы я ему на нее не указывал), быть неспособным к любви было, по крайней мере, новой моделью или линзами, с помощью которых можно было взглянуть на проблему, плюс поначалу это казалось перспективным способом борьбы с парадоксом фальшивости в смысле сокращения ненависти к себе, которая усиливала страх и последующий порыв манипулировать людьми, чтобы те дали мне то самое одобрение, в котором я отказывал себе сам. (Термин доктора Джи для одобрения — «валидность»). Этот период был практически моим зенитом в психоанализе, и несколько недель (в течение пары из которых я на самом деле совсем не виделся с доктором Густафсоном, поскольку ему пришлось лечь в больницу из-за какого-то осложнения, а когда он вернулся, казалось, что он потерял не только вес, но и какую-то существенную часть общей массы, и больше не казался слишком большим для старого офисного кресла, которое хоть еще и скрипело, но уже не так громко, плюс большая часть беспорядка и бумаг скрылись в несколько коричневых картонных коробок для документов у стены под двумя печальными принтами, и когда я вернулся его повидать, почему-то именно отсутствие мусора было особенно тревожно и печально) я действительно впервые с уже давней истории с самообманом в эксперименте с Нейпервилльской Церковью Пылающего Меча Избавителя чувствовал проблески настоящей надежды. И все же в то же время именно эти недели более-менее привели меня к решению покончить жизнь самоубийством, хотя мне хочется упростить и линеезировать большую часть внутренних мучений, дабы передать тебе то, что случилось. Иначе пришлось бы перечислять едва ли не вечность, об этом мы уже говорили. Не то чтобы слова или человеческий язык теряют всякую ценность или значение после смерти, кстати

сказать. Скорее свой специфический пошаговый темпоральный порядок. Или нет. Трудно объяснить. Если перейти в плоскость логики, что-то, выражаемое словами, еще будет иметь ту же кардинальность, но не ту же ординальность. Другими словами, еще существуют всякие разные слова, но уже не стоит вопроса, какое из них идет первым. Или можно сказать, что это больше не серии слов, но скорее некий предел, к которому эти серии стремятся. Трудно не прибегнуть к логическим терминам, так как они наиболее абстрактны и универсальны. То есть у слов нет коннотаций, в них не чувствуешь ничего лишнего. Или, например, представь, что все, что кто-либо когда-либо на Земле сказал или даже подумал, сжимается и взрывается в один огромный, объединенный, мгновенный звук — хотя «мгновенный» опять же немного запутывает, ведь он подразумевает другие мгновения до и после, а все обстоит не так. Скорее как внезапная внутренняя вспышка, когда видишь или осознаешь что-то — внезапная вспышка, или что-то вроде прозрения или проницания. Не то чтобы она происходит так быстро, что процесс нельзя зафиксировать и перевести в английский, но, вернее, она происходит в измерении, где даже нет известного нам времени, или времени нет вовсе, эта вспышка — все, что знаешь, что есть до и после, и в это «после» ты уже другой. Не знаю, есть в этом хоть капля смысла. Я просто пытаюсь подать это с разных углов, а так говорю об одном и том же. Или скорее это похоже на определенную конфигурацию света, нежели чем на сумму слов или последовательность звуков. Так больше похоже на правду. Или как доказательство теоремы — ведь доказательство истинно, когда истинно везде и всегда, а не только тогда, когда его произносишь. Но похоже, лучше всего для описания подходит логический символизм, так как логика совершенно абстрактная и внешняя по отношению к тому, что мы привыкли считать временем. Ближе не подобраться. Вот почему из-за логических парадоксов сходят с ума. Многие великие логики в итоге кончали жизнь самоубийством, это исторический факт.

И помните, что эта вспышка может произойти где угодно, когда угодно.

Вот, кстати, простой парадокс Берри, если вам нужен пример, почему логики с невероятной огневой мощью отдают всю жизнь, чтобы решать подобные головоломки, и в конце концов все равно бьются головой о стену. Этот связан с большими числами — то есть действительно большими, больше триллиона, в десять триллионов раз больше триллиона, вот какие. Когда туда доходишь, такие большие числа даже словами описывать долго. «Один триллион четыреста три миллиарда в триллионной

степени» занимает, например, двадцать один слог. Ну ты понял. Так, а теперь в этих огромных, космического масштаба числах представь наименьшее число, которое нельзя описать меньше, чем за двадцать шесть слогов. Парадокс в том, что «наименьшее число, которое нельзя описать меньше, чем за двадцать шесть слогов», уже, конечно, само по себе описание этого числа, и имеет только двадцать пять слогов, что, конечно, меньше двадцати шести. Ну и что теперь делать?

Также то, что привело к самоубийству в плане причинности, случилось где-то на третью или четвертую неделю приема доктора Джи после возвращения с госпитализации. Хотя не буду притворяться, что этот конкретный инцидент не покажется большинству абсурдным или даже в своем роде безвкусным. Дело в том, что однажды поздно ночью в августе после возвращения доктора Джи, когда я не мог заснуть (что часто случалось после кокаинового периода) и сидел со стаканом молока или чем-то еще и смотрел телевизор, перещелкивая наугад пультом разные кабельные станции, как делают многие, когда поздно, я случайно попал на старую серию «Чирс», из последних сезонов, на момент, где персонаж-психоаналитик, Фрейзер (который потом получил собственный сериал), и Лилит, его невеста и тоже психоаналитик, как раз входят в подвальный паб, и Фрейзер спрашивает ее, как сегодня работа в офисе, и Лилит отвечает: «Если ко мне придет хоть еще один яппи и начнет ныть, что не может любить, меня стошнит». Реакция зала в студии на эту шутку была ошеломляюще бурной, а это указывало, что они — а также, демографически обобщая, и вся национальная телеаудитория — узнали, что за клише и мелодраматическое нытье этот концепт «неспособности любить». И там, на кухне, я вдруг осознал, что вновь пытаюсь обмануть себя, на этот раз думая, будто это более правдивый или перспективный способ решить проблему фальшивости — и, в целом, что я обманывал себя и почти поверил, будто у старого бедного доктора Густафсона есть хоть что-то в интеллектуальном арсенале, что может мне как-то помочь, хотя на самом деле я продолжал с ним видеться частично из-за жалости и частично, чтобы можно было притвориться для себя, будто я делаю шаги к аутентичности, тогда как все, что я делал — издевался над смертельно больной оболочкой человека и наслаждался своим превосходством, потому что анализировал его психологическую природу гораздо точнее, чем он анализировал мою — вспышка осознания всего этого произошла в тот же момент, когда бурный смех аудитории показал, что почти каждый в Соединенных Штатах видел насквозь жалобу о неаутентичности уже так давно, сколько лет этой серии — все это

вспыхнуло в голове в миниатюрный интервал, когда я еще не понял, что именно смотрю, и не вспомнил, кто вообще такие персонажи Фрейзера и Лилит, то есть максимум где-то полсекунды, но это меня более-менее уничтожило, и других подходящих слов я не найду: как будто любую надежду выбраться из ловушки, которую я сам для себя сделал, сбили на подлете или осмеяли на сцене, словно я был одним из комических типажей, которые всегда служат поводом для шуток и никогда этих шуток не понимают — и в итоге я лег, как никогда чувствуя себя фальшивым, затуманенным, безнадежным и полным презрения к себе, и именно на следующее утро, проснувшись, я решил убить себя и закончить этот фарс. (Как ты вероятно помнишь, «Чирс» был невероятно популярным сериалом, и даже в синдикации[10] рейтинги были так высоки, что если местный рекламодатель хотел купить время в его слотах, оно стоило так много, что приходилось выстраивать целую стратегию насчет этих слотов). Я сознательно сжимаю большую часть того, что произошло в эту ночь с моей психикой, все различные осознания и заключения, к которым я пришел, пока не мог уснуть или даже двинуться (сами по себе шутка или смех зрителей, разумеется, не могут послужить причиной для суицида) — хотя для тебя, могу представить, все это вовсе не кажется сколько-нибудь сжатым, ты-то думаешь: вот этот парень все трындит и трындит, и когда уже он дойдет до момента, когда убивает себя и объясняет факт, как он сидит тут рядом со мной в этом достижении современного автомобилестроения, если умер в 1991. На что я, по сути, решился, как только проснулся. Все, пора кончать спектакль.

После завтрака я позвонил на работу и отпросился по болезни, остался дома на весь день наедине с собой. Я знал, что если рядом будет кто-то еще, я тут же окунусь в фальшь. Я решил принять побольше Бенадрила и, как только стану сонным и расслабленным, разогнать машину на полную на проселке в западном пригороде и врезаться точно в бетонную опору моста. От Бенадрила у меня туман в голове и хочется спать, всегда так было. Большую часть утра я потратил на письмо адвокату и бухгалтеру-С.Р.А., а также на короткие записки главе креативного и управляющему партнеру, который меня изначально и устроил в Самьети и Чейн. Наша креативная группа находилась в разгаре очень щекотливых приготовлений к кампании, и я хотел извиниться, что оставляю их на произвол судьбы. Конечно, мне было не так уж и жаль — Самьети и Чейн был балетом фальши, а уж я стоял в его эпицентре. Записка, вероятно, нужна была затем, чтобы действительно важные люди в S. & C. были склонны вспоминать меня как достойного, добросовестного парня,

который оказался немного чересчур чувствительным и одолеваемым внутренними демонами — «Почти слишком хорош для этого мира», вот о каких словах после объявления печальных новостей я не мог не фантазировать. Я не оставил записки для доктора Густафсона. Ему хватало своих проблем, и я знал, что просто зря убью много времени на записку, где буду стараться казаться честным, но при этом лишь танцевать вокруг правды, которая заключалась в том, что он подавленный гомосексуалист или андрогин и не имел на самом деле права заставлять пациентов позволять ему проецировать на них свои проблемы, и что правда в том, что он сделает себе и всем остальным большую услугу, если просто пойдет в Гарфилд Парк и отсосет кому-нибудь в кустах и решит для себя, нравится ему или нет, и что я был полной фальшивкой, потому что продолжал наезжать к нему в Ривер Форест повидаться и валять его, как кошачью игрушку, убеждая себя, что в этом был какой-то антифальшивый смысл. (А все это, разумеется, даже если бы кто-то умирал от рака толстой кишки прямо на глазах, никто бы не смог высказать в лицо, ведь определенные истины вполне могут уничтожить — а у кого есть такое право?)

Я потратил почти два часа до принятия первой дозы Бенадрила, составляя от руки письмо сестре Ферн. В нем я извинялся за ту боль, которую может причинить мое самоубийство и фальшивость и/или неспособность любить, которые меня к этому привели, ей и отчиму (который был еще жив и сейчас проживал в округе Мэрин, Калифорния, где преподавал на полставки и участвовал в социальной работе с бездомными округа Мэрин). Также я воспользовался случаем письма и всей связанной с ним своеобразной безотлагательностью в стиле «последней воли», чтобы оправдать извинения перед Ферн как за манипулирование приемными родителями, из-за чего они поверили, что она солгала о той старинной стеклянной вазе в 1967, так и за полдюжины других случаев и недоброжелательных или фальшивых поступков, которые, как я знал, причинили ей боль и из-за которых я себя с тех пор плохо чувствовал, но никогда не видел возможности открыться ей или выразить искренние сожаления. (Оказалось, что есть темы, которые можно обсудить в предсмертной записке, но в любом другом дискурсе они слишком причудливы). Один пример подобного инцидента относится к середине 70-х, когда Ферн, проходя пубертатный период, перенесла некоторые физические изменения, из-за которых год или два выглядела полноватой — не толстой, но с широкими бедрами, грудастой и как бы куда шире, чем была в детстве — и конечно, она по этому поводу была

очень, очень чувствительна (пубертатность, очевидно, также время ужасно яркого самосознания и трепетного отношения к образу тела), настолько, что приемным родителям стоило больших трудов не говорить ни слова о ширине Ферн или даже когда-либо упоминать темы, связанные с питанием, диетой, физическими упражнениями и т. д. И я со своей стороны никогда об этом тоже ничего не говорил, не прямо, но перепробовал всевозможные очень тонкие и косвенные варианты мучений Ферн так, что родители ничего не замечали и меня нельзя было бы обвинить так, чтобы в ответ я не огляделся бы с шокированным, скептическим выражением лица, будто понятия не имею, о чем это она говорит: например, быстро поднять бровь, когда наши взгляды встречались, если она просила добавку за ужином, или быстрое и тихое «Ты уверена, что в это влезешь?», когда она возвращалась из магазина с новой юбкой. Тот случай, что я помню живее всего, произошел в коридоре второго этажа в нашем доме, в Авроре, который был трехэтажным (считая подвал), но не особенно просторным и большим, то есть тощая трех-этажерка, что всегда теснятся вдоль жилых улиц в Нейвервилле и Авроре. Коридор второго этажа, проходивший между комнатой Ферн и лестничной площадкой с одной стороны и моей комнатой и ванной с другой, был весь заставленный и довольно узкий, но вовсе не настолько узкий, как я притворялся, когда бы мы с Ферн там ни проходили, прижимаясь к стене коридора, раскинув руки и прищуриваясь, как будто едва хватало места, чтобы кто-то ее невероятных размеров мог протиснуться, и она никогда ничего не говорила и даже не смотрела на меня, когда я так делал, а просто проходила мимо в ванную и закрывала дверь. Но я знал, что ей обидно. Немного позже она вошла в подростковый период, когда почти ничего не ела, курила сигареты и жевала несколько пачек жвачки в день, слишком ярко красилась и некоторое время она была такой худой, что казалась даже угловатой и немного смахивала на насекомое (хотя, конечно, вслух я этого не говорил), и что однажды я, через замочную скважину в спальне, подслушал короткую беседу, в которой мачеха сказала, что волнуется, потому что ей кажется, будто у Ферн задержка, потому что она слишком мало весит, и обсудила с отчимом возможность отвести ее показаться какому-нибудь специалисту. Этот период прошел сам по себе, но в письме я писал Ферн, что навсегда запомнил этот и некоторые другие определенные периоды, когда был с ней жесток или хотел обидеть, и что очень сожалею, хотя потом добавил, что не хочу показаться эгоистом — как будто простое извинение сотрет всю боль, что я ей причинял, пока мы взрослели. С другой стороны, я также уверил ее, что вовсе не

носил в себе все эти годы чрезмерное чувство вины и не раздуваю эти случаи сверх меры. Это вовсе не меняющие жизнь травмы, и во многом они, возможно, были лишь типичными жестокостями, которые дети, как правило, проявляют друг к другу при взрослении. Также я убедил ее, что ни эти инциденты, ни мое в них раскаяние не связано с самоубийством. Я просто сказал, не углубляясь в такие детали, что предоставил сейчас тебе (потому что, конечно, цель письма была другой), что убиваю себя потому, что был до мозга костей фальшивым человеком, которому не хватило характера или огневой мощи найти, как остановиться, даже когда осознал фальшивость и ужасную дань, что она взимала (я ничего не писал о разнообразных осознаниях или парадоксах, да и зачем?) Я также вставил, что есть большая вероятность, что, в конце концов, я был не чем иным, как очередным прожигающим жизнь яппи, который не может любить, и что я нашел эту банальность невыносимой, в основном потому, что был, очевидно, настолько неглубоким и неуверенным в себе, что у меня была патологическая необходимость постоянно видеть себя каким-то исключительным или выдающимся. Не вдаваясь в объяснения и споры, я также написал Ферн, что если ее начальной реакцией на эти причины самоубийства будет мысль, что я был слишком, слишком суров к себе, то ей нужно знать, что я уже предугадал, что скорее всего именно эту реакцию в ней и пробудит письмо, и, вероятно, нарочно скомпоновал его так, чтобы как минимум частично натолкнуть именно на эту реакцию, точно так же, как всю жизнь я часто говорил и делал нечто, задуманное натолкнуть определенных людей на мысль, будто я неподдельно выдающийся человек, чьи личностные стандарты настолько высоки, что он слишком суров к себе, а это в свою очередь делало меня привлекательно скромным и неснобом и послужило важной причиной популярности среди стольких людей в разные времена моей жизни — что Беверли-Элизабет Слейн окрестила «талантом к заискиванию» — но, тем не менее, было с самого начала просчитанным и фальшивым. Я также написал Ферн, что очень ее люблю, и попросил передать от меня те же чувства в округ Мэрин.

Теперь мы дошли до части, где я себя убиваю. Это случилось в 9:17, 19 августа 1991, если хочешь точное время. Плюс избавлю тебя от большинства приготовлений последних пары часов и возвратно-поступательного конфликта и сомнений, которых было много. Самоубийство противоречит стольким прошитым в природу человека инстинктам и побуждениям, что никто в трезвом уме не пойдет на него без долгих колебаний, интервалов, когда почти передумываешь, и т. д. Немецкий логик Кант был

прав в этом отношении, люди практически идентичны в плане нашей прошивки. Хотя мы и редко это сознаем, мы по сути лишь инструменты или выражения наших эволюционных побуждений, которые, в свою очередь, выражают силы, что бесконечно больше и важнее, чем мы. (Хотя осознавать это — совсем другая история). Так что я даже не буду пытаться описать те несколько моментов того дня, когда я сидел в гостиной и проходил мощнейшие психические колебания туда-сюда, идти ли на это или не идти. Как минимум, эти колебания были исключительно психического рода и переложить их в слова заняло бы огромное количество времени, плюс это показалось бы каким-то клише или банальностью в том плане, что многие мысли и ассоциации были по сути теми характерными вещами, которые в итоге думают все, кто встречал неминуемую смерть. Например: «Это последний раз, когда я завязываю шнурки», «Это последний раз, когда я смотрю на каучуковое деревце на тумбочке», «Как приятно именно здесь вдохнуть полной грудью», «Это последний стакан молока, что я выпью», «Какой совершенно бесценный дар — этот совершенно обычный вид, как ветер хватает ветки деревьев и качает их туда-сюда». Или «Я больше никогда не услышу заунывный шум холодильника на кухне» (кухня и уголок для завтрака у меня прямо в гостиной), и т. д. Или «Я не увижу, как завтра встанет солнце, или как утром спальня постепенно проярчается и прочерчивается, и т. д.», и в то же время пытаться вспомнить в деталях, как солнце встает над сырыми полями и мокрыми на вид склонами I-55, что лежит к востоку от стеклянных раздвижных дверей моей спальни, по утрам. Был жаркий, влажный август, и если бы я пошел на самоубийство, я бы никогда не почувствовал возрастающую прохладу и сушь, какая начинается здесь к середине сентября, и не увидел бы падающие листья, и не услышал бы их шорох у краев двора за зданием S. & C. на Ю. Дирборн, или не увидел бы снег, или не забросил в багажник лопату и мешок с песком, или не попробовал бы идеально зрелой, нешероховатой груши, или не наклеил бы кусочек туалетной бумаги на бритвенный порез. И т. д. Если бы я зашел в ванную и почистил зубы — это был бы последний раз, когда я это делал. Я сидел так и думал так, глядя на каучуковое деревце. Все, казалось, едва трепещет, как трепещет отражение в воде. Я смотрел, как солнце начинает садиться за застройки таунхаусов строительной компании Дэриен на шоссе Лили Кэш, и осознал, что никогда не увижу, как завершатся новейшие дома и ландшафт, или что белые мембраны с надписью TYVEK на этих домах, трепыхающиеся на ветру, однажды скроются под виниловым сайдингом или отделочным кирпичом и

подобранными по цвету жалюзи, и я этого не увижу или не проеду мимо, зная, что на самом деле было написано под очаровательными экстерьерами. Или вид из окна из моего уголка для завтрака на поля больших ферм рядом с застройкой, где распаханные борозды параллельны, и если высунуться и мысленно продолжить их линии дальше, они, кажется, умчатся вместе к горизонту, как выстрел из чего-то огромного. Ну ты понял. По сути, я был в состоянии, когда человек осознает, что все, что он видит, его переживет. Я знаю, что как вербальная конструкция это клише. Однако как состояние, в котором пребываешь — это нечто иное, можешь поверить. Когда каждое движение воспринимается с какого-то церемониального аспекта. Самая святость мира (то же состояние, которое доктор Джи попытался бы описать аналогиями с океаном и айсбергами и деревьями, ты, наверное, помнишь, как я об этом рассказывал). Это буквально где-то одна триллионная различных мыслей и внутренних переживаний, которые я испытал в последние часы, и я избавлю тебя от новых перечислений, потому как знаю, что в итоге это покажется даже глупым. А глупым оно не было, но также не буду притворяться, что оно было полностью естественным или подлинным. Часть меня еще просчитывала, разыгрывала — и это тоже было частью церемониального ощущения этого полудня. Даже когда я, например, писал письмо Ферн, выражая вполне реальные чувства и сожаления, часть меня замечала, какое милое и искреннее получается письмо, и предугадывало, какой эффект произведет на Ферн та или иная прочувствованная фраза, тогда как еще одна часть наблюдала, как мужчина в белой рубашке без галстука сидит в уголке для завтрака и пишет прочувствованное письмо в свой последний полдень в жизни, светлая деревянная поверхность стола трепещет от солнца, рука человека тверда, а лицо одновременно и темно от печали, и облагорожено решимостью, эта часть меня как бы парит надо мной и немного слева, оценивая сцену и думая, какое вышло бы замечательное и на вид искреннее выступление для драмы, если бы только мы все уже не видели бесчисленное количество подобных сцен в драмах с тех пор, как в первый раз посмотрели кино или прочитали книгу, из-за чего почему-то вышло так, что все настоящие сцены, как эта с предсмертной запиской, теперь кажутся настоящими и завораживающими только их участникам, а остальным — банальными или даже какими-то наигранными или плаксивыми, что, если подумать — что я и сделал, сидя в уголке для завтрака — довольно парадоксально, ведь причина, по которой такие сцены покажутся аудитории черствыми или манипулятивными, в том, что мы так часто видели их в драмах, и

в то же время причина, по которой мы их так часто видели в драмах — потому что они действительно драматические и завораживающие и позволяют людям причащаться к очень глубоким, сложным эмоциональным реальностям, которые почти невозможно проговорить как-либо иначе, и в то же время еще одна грань или часть меня осознавала, что с этой точки зрения моя собственная главная проблема в том, что с раннего возраста я избрал существование с предположительной аудиторией моей жизненной драмы, а не в драме самой по себе, и что даже сейчас я смотрю и оцениваю качество и возможные эффекты своего предположительного выступления, и таким образом в конечном счете я был все той же манипулирующей фальшивкой, что пишет письмо Ферн о том, кем я был в жизни и что привело меня к этой кульминационной сцене написания и подписания и надписания адреса на конверте и приклеивания марки и складывания конверта в карман рубашки (полностью осознавая, какой отклик для всей сцены может вызвать его пребывание именно здесь, у сердца), чтобы бросить в почтовый ящик по пути к Лили Кэш Роуд и опоре моста, в которую я планировал въехать на машине со скоростью, достаточной, чтобы сместить капот и пронзить меня рулем и мгновенно убить. Из ненависти к себе не следует желание причинить себе боль или желание умирать в мучениях, и если я собирался умереть — лучше бы это было мгновенно.

Опоры моста и насыпи по сторонам дороги на Лили Кэш поддерживают шоссе 4 (также известное как Брэйдвуд Хайвей), которое нависает над Лили Кэш на эстакаде, настолько покрытой граффити, что большую часть уже даже нельзя разобрать (что, на мой взгляд, противоречит смыслу граффити). Сами опоры стоят прямо у дороги и шириной с эту машину. Плюс это пересечение находится на изолированном пути к окраинам Ромеовилля, где-то десять миль к югу от юго-западных границ пригорода. Настоящая глушь. Единственные дома здесь — фермы вдали от дороги, приукрашенные силосными башнями и сараями и т. д. Летом по ночам здесь высокая точка росы и потому всегда туман. Это фермерский край. Когда бы я не проезжал под 4-м, я был единственным живым человеком на дороге. Кукуруза высока, и вокруг, сколько видно, только поля, как зеленые океаны, единственный звук — насекомые. Поездка в одиночестве под сливочными звездами и наклоненным серпиком луны, и т. д. Задумка заключалась в том, чтобы организовать аварию, огонь и взрывы, которые могут воспоследовать, где-нибудь в месте настолько изолированном, чтобы никто этого не видел, и в таком случае будет так мало аспектов спектакля, насколько для меня возможно, и не появится искушения потратить последние

секунды жизни на мысли о том, какое впечатление произведут на посторонних вид и звук столкновения. Частично меня беспокоило, что это слишком зрелищно и драматически и может показаться, будто водитель хотел уйти из жизни так драматично, как только можно. Вот думая о такой хрени, мы и тратим свои жизни.

Туман у земли становится гуще с каждой секундой, пока не начинает казаться, что весь мир — это то, что освещают фары. Дальний свет в тумане не работает, от него только хуже. Можно, конечно, попробовать, но увидишь: все, что он делает — освещает туман, так что он кажется еще гуще. Это тоже своего рода небольшой парадокс, что иногда видишь дальше с ближним светом, чем с дальним. Ладно — а вон и стройка, и хлопающая мембрана TYWEK на домах, где, если действительно решиться, уже не увидишь, как кто-то поселится. Хотя больно не будет, будет правда мгновенно, это я могу сказать точно. Насекомые в полях почти оглушают. Когда смотришь, как в высокую кукурузу садится солнце, по сути, видишь, что это кукуруза поднимается с полей, словно тень чьего-то огромного силуэта. В основном комары, а так не знаю, кто там есть. Там целая вселенная насекомых, которую никто из нас никогда не увидит и о которой ничего не узнает. Плюс начинаешь замечать, что Бенадрил уже не помогает. Вся эта затея отвратно спланирована.

Ладно, вот мы и подходим к тому, что я обещал и в надежде на что ты вытерпел весь этот скучный синопсис того, что к этому привело. То есть, что такое умирать, как оно происходит. Да? Вот что все хотят узнать. И ты тоже, поверь. Пойдешь ли ты на это или нет, отговорю ли я тебя, как ты думаешь, что я буду отговаривать, или нет. Например, это не то, о чем все думают. Но дело в том, что ты уже знаешь, что это. Ты уже знаешь разницу между размером и скоростью всего, что проносится в тебе, и непропорционально миниатюрной частичкой того, что можно кому-то передать. Казалось бы, внутри тебя огромное пространство, полное тем, что иногда даже кажется сразу всем во всей Вселенной, но при этом, чтобы выйти наружу, ему приходится словно как-то протискиваться через такую маленькую замочную скважину, какие бывают под ручкой в старых дверях. Как будто мы все пытаемся разглядеть друг друга через маленькие замочные скважины.

Но есть и ручка, дверь можно открыть. Но не так, как ты думаешь. Но что, если бы ты смог ее открыть? Представь на секунду — что, если все бесконечно густые и непостоянные миры абсолютно всего каждого мига твоей жизни у тебя внутри теперь вдруг как-то совершенно открыты и наконец выразимы после

твоей так называемой «смерти», потому что что, если теперь каждый момент и есть бесконечное море или интервал или период времени, в который все можно выразить или передать, и даже больше не нужен никакой организованный английский, можно, так сказать, открыть дверь и оказаться во всех комнатах всеми своими мультиформенными образами и идеями и гранями? Потому что слушай — у нас мало времени, вот уже Лили Кэш слегка идет под уклон и обочины дороги становятся круче и переходят в склоны, и можно разобрать очертания неосвещенного знака для фермерского рынка, который давно закрылся, последний знак перед мостом — так что слушай: Что ты, по-твоему, такое? Миллионы и триллионы мыслей, воспоминаний, противоречий — даже таких безумных, как эта, думаешь ты — которые вспыхивают в голове и исчезают? Их сумма или остаток? Твоя история? Знаешь, сколько прошло с момента, когда я тебе признался, что я фальшивка? Помнишь, ты смотрел на RESPICEM часов, что болтались с зеркала заднего вида, и проверял время, 9:17? А на что ты смотришь прямо сейчас? Совпадение? А что, если время вообще не прошло{1}? Правда в том, что ты это уже слышал. И что все это такое. И что это то, что создает в тебе пространство для вселенных, всех бесконечных фракталов связей и симфоний из разных голосов, бескрайностей, которые ты не можешь показать другой душе. И ты думаешь, что вот из-за этого ты фальшивка, из-за какого-то миниатюрного осколочка, который видит кто-то еще? Ну конечно ты фальшивка, конечно то, что видят другие — вовсе не ты. И конечно ты это знаешь, и конечно пытаешься контролировать, какую частицу они увидят, раз это только частица. А кто бы не стал? Это и зовется свободой воли, Шерлок. Но в то же время именно поэтому так здорово ломаться и плакать на глазах у других, или смеяться, или говорить на непонятных языках, или молиться на бенгальском — это больше не английский, это не как протискиваться сквозь какую-нибудь щель.

Так что плачь, сколько хочешь, я никому не скажу.

Но если бы ты передумал — это не значит, что ты фальшивка. Печально идти на это только потому, что ты думаешь, будто должен.

Но больно не будет. Будет громко, и ты почувствуешь все, но оно пройдет сквозь тебя так быстро, что ты даже не поймешь, что чувствуешь (что тоже некий парадокс, которым я мучил Густафсона — можно ли быть фальшивкой, если не знаешь, что ты фальшивка?) И в самый короткий миг огня тебе будет почти что хорошо, как когда у тебя замерзают руки, и вдруг вот огонь, и ты тянешь руки к нему.

На самом деле умирать не так плохо, но это длится целую вечность. А вечность не длится вообще нисколько. Знаю, похоже на противоречие или, может, всего лишь на игру слов. Но на самом деле, как выясняется, это вопрос точки зрения. Большая картина, как говорится, в которой это на вид бесконечное мотание туда-сюда между нами возникает, исчезает и снова возникает в тот же самый миг, когда Ферн помешивает в кипящей кастрюле, а твой отчим утрамбовывает табак в трубке большим пальцем, а Анджела Мид с помощью гениального приспособления, заказанного по каталогу, вычесывает с блузки кошачью шерсть, а Мелисса Беттс взволнованно задерживает дыхание в ответ на то, что, как ей кажется, сказал муж, а Дэвид Уоллес моргает, лениво просматривая фотографии из школьного альбома Авроры Вест С. Ш. 1980 и видит мое фото и пытается через свою маленькую замочную скважину представить, что же случилось, что же привело меня к гибели в жестокой автомобильной аварии, о которой он читал в 1991, какие же проблемы или боль заставили парня закинуться разрешенными препаратами и сесть в свой Корвет цвета электрик — у Дэвида Уоллеса вдруг возникает огромный и совершенно беспорядочный набор внутренних мыслей, чувств, воспоминаний и впечатлений из-за маленького фото парня, что учился с ним в школе на класс старше и ходил всегда с заметной, почти неоновой аурой учебного и атлетического превосходства и популярности и успеха у девушек, как и из-за всех до единого колких замечаний или даже незаметных жестов или выражения презрения, когда Дэвид Уоллес промахивался по Легионскому мячу или на вечеринке ляпал какую-нибудь глупость, и из-за того, каким впечатляюще и естественно свободным он всегда казался, как настоящий живой человек, а не неловкие, жалкие, застенчивые очертания или призрак человека, каким, как Дэвид Уоллес знал, он был в то время. Истинно славный парень, что далеко пойдет, которого Дэвид Уоллес в лучших человеческих традициях представлял тогда счастливым и нерефлективным и целиком неодержимым голосами, которые твердят, будто в нем глубоко внутри что-то не так, а у других все так, и что ему надо тратить все время и энергию, чтобы понять, что сделать и сказать, чтобы впечатлить хотя бы минимально нормального или приемлемого американского мужчину, и все это каждую секунду скакало в голове Дэвида Уоллеса 81-го года и двигалось так быстро, что ему так и не удалось ухватиться и побороть или оспорить или хотя бы по-настоящему хотя бы почувствовать хоть как-то, кроме как комком в животе, когда он стоял в кухне своих биологических родителей и гладил форму и думал, как он наверняка слажает и

сделает страйк аут[11], даже не успев ударить, или упустить простой мяч и раскрыть свою истинную жалкую суть на глазах этого хиттера с показателем в.418 и его по-ведьмовски красивой сестры и всех зрителей на раскладных креслах на траве у поля Легиона (которые, он был уверен, все равно уже разглядели его, фальшивку, из-за забора) — другими словами, Дэвид Уоллес пытается, в ту секунду, пока моргает, как-то примириться с тем, что у этого сияющего парня было что-то, что заставило его убить себя таким драматическим и несомненно болезненным способом — и хотя Дэвид Уоллес четко понимает, что клише о том, как нельзя полностью познать, что творится у кого-то внутри, древнее и безвкусное, и все же он в то же время очень осознанно пытается запретить этому пониманию осмеивать хотя бы попытку или заворачивать всю линию размышлений в некую вогнутую спираль, которая не дает ни к чему придти (с 1981, разумеется, прошло значительное время, и Дэвид Уоллес вышел после многих лет буквально неописуемой войны против себя с чуть большей огневой мощью, чем была у него во времена учебы в Авроре Вест), и вот более реальная, более выносливая и сентиментальная его половина приказывает другой половине замолкнуть, словно глядя ей прямо в глаза и говоря почти вслух: «Больше ни слова».

notes

Примечания

1

Прим. пер. Стих Э. А. Робинсона.

2

Психологические тренинги.

3

Социальная реклама.

4

Разновидность массового группового тренинга осознания, похоже на EST.

5

Средний коэффициент результативности отбивания.

6

Юниорская лига.

Университет Висконсина в О-Клэр.

8

Аргумент, выявляющий противоречие.

9

Предусматривай конец.

10

Продажа проекта другим каналам, обычно в слоты вне прайм-тайма.

11

Страйк-аут — три промаха баттера подряд и последующее удаление с поля.

comments

Комментарии

1

Один из намеков на то, что в последовательном времени и том, как его переживаешь, есть что-то нереальное — это различные парадоксы предположительного прохождения времени и так называемого «настоящего», которое всегда разворачивается в будущее и создает за собой все больше и больше прошлого. Как будто настоящее — вот эта машина (неплохая машина, между прочим), а прошлое — дорога, по которой мы только что ехали, и будущее — освещенная фарами дорога впереди, которую мы еще не проехали, и время — это движение машины вперед, и точное настоящее время — это передний бампер машины, который разрезает туман будущего, так что есть сейчас, а через миг сейчас уже совсем другое, и т. д. Вот только если время действительно мчится — то с какой скоростью? И с какими темпами меняется настоящее? Видишь? То есть если мы измеряем временем движение или скорость — а мы так и делаем, и по-другому не можем — 95 миль в час, 70 ударов сердца в минуту, и т. д. — так как измерять скорость, с которой двигается время? Одна секунда в секунду? Бессмыслица. Нельзя даже сказать, что время течет или идет, тут же не столкнувшись с этим парадоксом. Так что задумайся на секунду: Что, если движения на самом деле вообще нет? Что, если все то, что ты зовешь настоящим, разворачивается в одну вспышку, эту первую, бесконечно малую долю секунды столкновения, когда ускорившийся передний бампер машины только начинает касаться опоры, точно перед тем, как бампер сомнется и сместит капот и тебя дико бросит вперед, а рулевая колонка пойдет назад, прямо в грудь, как будто ей выстрелили из чего-то огромного? То есть что, если на самом деле это «сейчас» бесконечно и никогда не пройдет в том смысле, в котором твой мозг предположительно прошит понимать прохождение, так что не только вся твоя жизнь, но и каждый человечески мыслимый способ описать и учесть жизнь вспыхивает в твоем разуме, как неон в форме связанных букв курсивом, которые так любят использовать предприниматели на знаках и окнах, в буквально неизмеримый миг между столкновением и смертью, когда тебя начинает бросать вперед, навстречу рулю, со скоростью, которую не сдержит ни один ремень безопасности — КОНЕЦ.